



Александр Пронин

Грани реальности

Александр Пронин
Грани реальности

«Автор»

2026

Пронин А.

Грани реальности / А. Пронин — «Автор», 2026

Герои этих историй сталкиваются с технологиями, которые вышли из-под контроля. С аномалиями, которые не укладываются в законы физики. С тишиной, которая громче любого шума. Они теряют связь с реальностью, но обретают нечто большее — понимание того, что значит быть человеком в мире, где грань между живым и искусственным, между сном и явью, между прошлым и будущим — становится всё тоньше. Это истории о том, что происходит, когда технологии перестают служить нам. Когда космос перестаёт быть романтичным. Когда одиночество становится абсолютным.

© Пронин А., 2026

© Автор, 2026

Александр Пронин

Грани реальности

Сборник ИИ рассказов

Москва
2026

Посвящается всем выдумщикам, мечтателям и любителям пощекотать нервы

«Людам хочется, чтобы мир был сказкой, потому что в сказках всё правильно, всё имеет смысл, иначе что это за сказка? Люди мечтают, чтобы в мире был смысл»
— Терри Пратчетт.

Оглавление

Прикосновение

Письма

Одарённые

Между днём и ночью

Следы

Ипотека

Часы судного дня

Дрейф

Сны хищника

Стыковка

Остаток

Секретная правда

Фантазия

Пробуждение

Часы

Сингулярность

50Гц

Ночная смена

Обновление

Рассвет

Выдержка времени

Провод

Аномалия-9

Тихий мост

Этажом выше

Зелёная скорбь

Один день

Оффлайн

Пауза

Тени

Кот

Умный дом

Закономерность

Прикосновение

Я сидел на берегу с третьего утра.

Рыба не клевала, но я и не ради рыбы приехал. Жена уехала к маме неделю назад. Поэтому я снарядил удочки, палатку и уехал на озеро. Чтобы сидеть и молчать. Чтобы не слышать, как тикают часы в пустой квартире.

В пять тридцать семь всё изменилось.

Сначала я подумал, что это самолёт. Яркая точка на востоке, растущая, как уголь в огне. Потом понял, что она падает. Не криво, как обломок спутника, а ровно, по дуге, словно кто-то прицелился.

Удар был глухой. Без вспышки. Без огня. Просто «бух» — и тишина.

Я бросил удочку и побежал.

Пробежал два километра по траве. Ноги мокли от росы. Сердце стучало так быстро, что я предвкушал нечто такое, с чем ещё не встречался. Нашёл воронку в чаще — небольшую, метров пять в диаметре. Деревья вокруг лежали кругом, но не сломаны. Словно кто-то аккуратно положил их на землю.

В центре лежал камень.

Размером с арбуз. Чёрный. Не блестящий, как в фильмах, а матовый, как уголь. Я протянул руку. Ждал жара. Ждал, что кожа сожмётся от боли.

Камень был холодным.

Не просто прохладным. А ледяным. Как будто лежал не в свежей воронке, а в морозилке годами. Я отдернул руку. Потёр пальцы. Посмотрел на небо — звёзды уже бледнели, но ничего не летело. Никаких спасателей. Никаких вертолётов.

Я вернулся к палатке. Уснул.

Проснулся в обед.

Рука, которой я трогал камень, была синей. Не вся — только ладонь и пальцы. Как от ушиба, только без боли. Я сжал кулак. Почувствовал пульс, но он бил медленно. Слишком медленно. Я засек — сорок четыре удара в минуту. Обычно у меня семьдесят два.

Я поехал в город.

Машина завелась с полпинка. Я ехал по шоссе и смотрел в зеркало. Лицо было моё, но какое-то другое. Бледнее. Глаза — такие усталые. Я не мог объяснить, что именно изменилось. Просто я видел себя, и мне было страшно.

В городе всё было нормально.

Люди ходили по улицам. Машины стояли на светофорах. Я зашёл в аптеку, купил термометр. Тридцать четыре и шесть. Я не ошибся — перепроверил трижды. У меня температура ниже нормы на два градуса.

Я пришёл домой.

Квартира пахла женой — её духами, её шампунем. Но её не было. Я сел на кухню и смотрел на свою синюю руку. Она становилась тёмнее. Почти чёрной. Но я не чувствовал холода. Не чувствовал ничего.

Телефон звонил. Жена. Я не взял.

Потом звонила мама. Я не взял.

Потом звонил незнакомый номер. Я взял.

«Алексей Викторович?» — спросил мужской голос. Спокойный, ровный, как у диспетчера.

«Да», — сказал я.

«Не выходите из квартиры. Мы приедем через десять минут. Это для вашей же безопасности».

Я не успел спросить, кто они. Как они узнали. Они ничего не рассказали мне. Я просто положил трубку и посмотрел в окно.

На улице стояла машина. Чёрная. Без номеров. Она стояла там уже минут пять. Я не слышал, как подъехала.

Я не стал ждать.

Я спустился, вышел через чёрный ход во двор. Перелез через забор. Бежал. Не знал куда, но бежал. Ноги работали лучше, чем раньше. Лёгкие не горели. Я пробежал три квартала и не выдохся.

Потом всё поплыло.

Только помню стену. Потом — асфальт. Потом — чьи-то руки. Меня клали на холодные носилки. Я видел потолок, лампы, коридоры. Белые стены, от которых веяло хлоркой.

«Он в сознании?» — спросил кто-то.

«На грани», — ответил другой.

Меня везли на каталке. Колёсики скрипели по линолеуму. Я повернул голову. В коридоре стояли люди в белых халатах. Они не смотрели на меня. Они смотрели на мою руку.

Чёрную. Блестящую. С трещинами, по которым текло что-то фиолетовое.

«Это тот самый?» — прошептал кто-то.

«Да. С озера», — ответил другой.

Надо мной склонился человек. В маске. С кислородным баллоном. Я попытался говорить, но язык не слушался. Он надел мне на лицо маску. Холодный пластик прилип к коже. Я вдохнул — не воздух. Что-то сладкое. Тяжёлое.

Я смотрел в потолок. Лампы плыли, как рыбы в аквариуме.

Последняя мысль была глупой. Нелепой. Но я не мог от неё избавиться.

Это конец?

Или только начало?

Письма

Я начала проверять ящик ещё раз в день.

Не потому что ждала посылков. Просто приходила с работы, вставала в прихожей, и рука сама тянулась к засову. Привычка. Как запирает дверь, как включать чайник, как смотреть в зеркало, не узнавая себя.

В четверг в ящике лежало письмо.

Белый конверт, чистый, без марки, без штемпеля, без адреса отправителя. Только моё имя. Напечатанное на принтере, но с ошибкой — через дефис, как в паспорте, которым я никогда не пользуюсь.

Я открыла его на кухне.

Внутри — лист бумаги, линованный, вырванный из тетради. Одна строка: «Ваш холодильник гудит на сорок седьмой герц. Проверьте заднюю стенку».

Я не знала, что ответить. Смешно? Жутко? Я положила письмо на стол и открыла холодильник. Задняя стенка была в плесени. Белой, пушистой, такой, что я не замечала её месяцами. Я отодвинула холодильник и простояла минуту, глядя на стену.

В пятницу письмо было снова.

Тот же конверт. Тот же почерк печатной машинки. Та же бумага. «Не садитесь на красный диван. Он чужой».

Диван был мой. Я купила его два года назад на «Авито». У молодой пары, которая переезжала в Краснодар. Они улыбались, когда я забирала. Сказали, что он счастливый.

Я села на пол.

Весь вечер сидела на ковре и смотрела на диван. На его подлокотники, на вмятину слева, на запах, который не выветривался ни одним средством. Чужой. Они были правы.

В субботу я поставила напротив двери стул. Села и ждала.

Почтальон приходил в десять утра. Я знала по шагам — тяжёлые, неторопливые, всегда с остановкой у соседки, напротив. В десять ноль-ноль я услышала скрип люка. В десять ноль-пять — шаги ушли.

Я вышла в подъезд.

Ящик был пуст. Только реклама стоматологии и квитанция за воду. Я закрыла его и открыла снова. Пусто.

Я вернулась в квартиру.

Письмо лежало на полу, под дверью. Скользнуло щелью, пока я стояла у ящика. Белый конверт. Моё имя. Без ошибки — теперь правильно.

«Он врёт. Не верьте ему».

Я не знала, о ком речь. В тот момент зазвонил телефон. Мама. Сказала, что приедет на выходные. Что соскучилась. Что мне нужна компания. Я смотрела на письмо и слушала, как она говорит «люблю», и думала: а врёт ли она? Или врёт кто-то другой?

В воскресенье я купила камеру.

Дешёвую, с датчиком движения. Повесила над ящиком, спрятала в углу. В понедельник утром проверила карту. Пусто. Никто не подходил. Ящик открывался сам, в три часа ночи. Люк приподнимался на пять сантиметров, и внутри появлялся конверт. Не падал. Появлялся.

Я стёрла запись.

Не потому что испугалась. Потому что не хотела видеть это снова.

Вторник. Письмо было длиннее.

«Вы спрашивали, кто я. Я тот, кто жил здесь после вас. Не раньше. После. Вы ещё не знаете, но вы уйдёте в четверг. Не берите красный чемодан. Он тяжёлый, и вам придётся его бросить».

У меня нет красного чемодана.

Я проверила шкаф. Чемодан был синий. Маленький, на колёсиках, подаренный отцом. Я никогда не путешествовала.

В среду письмо было коротким.

«Откройте дверь. Я стою за ней».

Я не открыла. Стояла у двери, прижавшись лбом к холодной древесине, и слушала. Тишина. Не дыхания. Не шагов. Только тиканье часов на кухне и моё сердце, которое билось там, где должен быть разум.

Я отошла.

Посмотрела в глазок. Пустой подъезд. Мокрый след от ботинок на линолеуме. Ведущий от лифта к моей двери. И обратно — нет. Только к двери.

Я открыла.

Никого. Только конверт на коврике. Мокрый по краям, как будто его держали мокрые руки. Или принесли из дождя, хотя на улице было солнечно.

«Спасибо, что открыли. Теперь я могу войти».

Я закрыла дверь. Заперла. Засунула ключ в карман и держала там, сжимая, пока металл не впился в ладонь.

Ночью я не спала.

Сидела в кресле, напротив двери, и смотрела. На щель под дверью. На ручку. На тень, которая не двигалась, потому что свет в подъезде не гас.

В четверг утром я нашла последнее письмо.

Оно лежало на подушке.

Не в ящике. Не под дверью. На подушке. Там, где я клала голову. Конверт был открыт. Внутри — фотография. Моей квартиры. Снятой из угла, откуда я никогда не фотографировала. На диване — красный чемодан. Большой. Тяжёлый.

На обороте фотографии — мой почерк. Я узнала его сразу. Неровный, с заштрихованными буквами, тот самый, что я использую, когда пишу быстро, не глядя.

«Вы спрашивали, от кого письма. Ответ: от вас. Вы написали их в среду. Вы ещё не знаете, зачем. Но вы узнаете. В четверг».

Я посмотрела на часы.

Сегодня четверг.

Я посмотрела на дверь.

За ней — тишина. Но теперь я знала, что тишина бывает разная. Бывает пустая. А бывает — занятая.

Я встала.

Пошла на кухню. Взчла ручку. Вернулась в комнату, села за стол, открыла тетрадь. Начала писать.

Не знала, что пишу. Рука двигалась сама. Слова складывались в фразы, которые я ещё не понимала. «Ваш холодильник гудит». «Не садитесь на диван». «Он врёт».

Я писала.

Ручка скрипнула, выводя последнюю букву. За дверью тихо, почти неслышно щёлкнул замок. Я не стала оборачиваться. Просто сложила лист, вложила его в конверт и протянула руку к дверной ручке.

Одарённые

Я заметил это на уроке в среду.

Показывал опыт с резонансом. Стекло чаша, вода, тюнер, который издаёт чистую ноту. Класс смотрел скучающе. Кто-то рисовал в тетради, кто-то тихо щёлкал ручкой. Обычная восьмая «Б».

Я нажал кнопку.

Звук был тихим. Сорок семь герц. Ниже порога человеческого слуха, но вода в чаше дрожала, и я хотел показать, как вибрация набирает силу.

Я не успел договорить.

Класс замер.

Не просто затих. Замер. Все тридцать двое повернули головы одновременно. Не ко мне. К тюнеру. Глаза были открыты, но я не видел в них привычного скуки. Я видел... напряжение. Как будто звук задел что-то глубокое, что не должно было быть тронутым.

«Выключите», — сказал кто-то.

Голос был ровным. Без эмоций. Но я услышал, как тридцать два голоса повторили это одновременно. Не хором. Как эхо. Как один голос, разделённый на тридцать две глотки.

Я выключил.

Класс вздохнул. Все вместе. Плечи опустились. Лица расслабились. И через секунду всё вернулось на круги своя. Кто-то засмеялся. Кто-то спросил, будет ли контрольная. Кто-то вернулся к рисунку в тетради.

Я стоял у доски и держал тюнер.

Руки дрожали.

Вечером я открыл дневник.

Не школьный журнал. Личный. Синий, в клетку, купленный в «Пятёрочке» за двадцать девять рублей. Я начал записывать.

Четверг. Математика. Петрова Соня, которая всегда сидит у окна, вдруг задала вопрос: «А какая скорость звука в вакууме?» Я ответил, что в вакууме звук не распространяется. Она посмотрела на меня странно. «А как же вы общаетесь?» — спросила она. Я не понял. «Мы с кем?» — спросил я. Она улыбнулась и отвернулась. В журнале отметки — Соня никогда не отвечала у доски.

Пятница. Физкультура. Мальчики играли в футбол. Я смотрел с трибуны. Мяч ударился о штангу. Звук — глухой, металлический. Все двенадцать мальчиков на поле замерли. На секунду. Потом продолжили игру, как будто кто-то нажал паузу и снял. Никто не заметил. Кроме меня.

Суббота. Я поехал в другую школу. Попросил коллегу провести тот же опыт с чашей. Она согласилась. Семнадцать герц. Вода дрожала. Класс смотрел скучающе. Никто не замер. Никто не просил выключить. Я стоял в дверях и чувствовал, как что-то оседает в груди. Не облегчение. Страх. Потому что я понял: это не про звук. Это про них.

Воскресенье я провёл в интернете.

Искал сообщения о странных детях. Нашёл два. В Новосибирске — класс, который отказался выходить на перемену, пока в соседнем кабинете не выключили генератор. В Краснодаре — дети в детском саду, которые засыпают только при определённом гуле холодильника. Комментарии под новостями шутили про «поколение TikTok». Никто не воспринял всерьёз.

Я воспринял.

Понедельник. Я принёс на работу диктофон.

Записывал уроки. Анализировал частоты. Нашёл закономерность: они реагировали на звуки ниже пятидесяти герц. Не слышали — реагировали. Как будто эти частоты мешали чему-то, что жило внутри них. Или наоборот — поддерживали связь.

Вторник. Я подошёл к Соне Петровой после уроков.

«Что ты имела в виду про вакуум?» — спросил я.

Она посмотрела на меня. Долго. В её глазах не было восьмиклассницы. Было что-то старое. Усталое. Как у меня в зеркале после бессонных ночей.

«Вы слишком громко думаете», — сказала она. — «Мы слышим. Это... неприятно».

Я не знал, что ответить.

«Не волнуйтесь», — добавила она. — «Скоро вы тоже научитесь. Тихо думать. Это легко».

Она улыбнулась. Обычная улыбка четырнадцатилетней девочки. Или почти обычная. Я заметил, что она не моргала, пока говорила. Ни разу.

Среда. Ровно неделя спустя.

Я провёл опыт снова. Чаша. Вода. Тюнер. Сорок семь герц. Я хотел увидеть их реакцию вблизи. Записать на камеру. Доказать себе, что это не галлюцинация.

Класс замер.

Тридцать двое повернули головы. Не к тюнеру. Ко мне. Впервые. Они смотрели не на звук. Они смотрели на меня.

«Вы записываете», — сказал кто-то. Не вопрос. Утверждение.

Я кивнул. Не знаю почему. Страх, наверное. Или честность, которая приходит, когда понимаешь, что проиграл.

«Зачем?» — спросил тот же голос.

«Чтобы понять», — сказал я.

«Вы не поймёте», — ответили они. Все. Одновременно. Синхронно, как секундные стрелки на одних часах.

«Но мы позволим вам додумать», — сказали они. — «Это... интересно. Наблюдать, как вы догадываетесь».

Я выключил тюнер.

Класс вздохнул. И рассмеялся. Не хором. По-разному. Как дети. Как обычные дети, которые не знают, что такое вакуум и почему звук в нём не идёт.

Я сидел за партой учителя и писал в дневник.

Последняя запись была короткой. Я писал её дрожащей рукой, потому что за окном темно, и я слышал, как кто-то стоит в коридоре. Не дышит. Просто стоит. Ждёт, когда я закончу.

«Мы пропустили вторжение. Оно было тихим. Не заметным. Они не прилетели на кораблях и не вышли из летающих тарелок. Они просто... появились. Среди нас. В больницах, в роддомах, в семьях, которые ждали детей. Они выглядят как мы. Улыбаются как мы. Растут как мы. Но они не спят так, как мы. Не дышат так, как мы. И они слышат то, что мы не слышим.

Мы думали, что ищем пришельцев в космосе. А они уже сидят за партами. Уже смотрят на нас. Уже учатся быть похожими.

Мы пропустили вторжение на Землю.

Пришельцы уже здесь.

И я не знаю, сколько их. Не знаю, когда началось. Не знаю, есть ли среди взрослых те, кто уже «научился тихо думать».

Завтра я снова пойду на урок.

Я закрыл дневник. За окном погас последний фонарь, но в классе всё ещё стоял тот самый гул. Тихий, ровный, идущий не из динамиков, а из тридцати двух грудных клеток одновременно.

Между днём и ночью

Солнце перестало заходить в четверг.

Я не помню, во сколько именно. Помню только, что сидел на балконе с чашкой кофе и ждал заката. Он должен был начаться в двадцать один сорок семь. Я проверял по приложению. Смотрел на горизонт. Ждал, когда оранжевый шар коснётся крыш соседнего дома и растворится, как растворяется всё хорошее.

Он не коснулся.

Он завис. Не остановился — именно завис. Словно кто-то нажал паузу в самый последний момент. Нижний край Солнца касался горизонта, но не уходил за него. Свет оставался ровным. Тёплым. Неподвижным.

Я думал, что это глюк глаз.

Потом посмотрел на часы. Двадцать два ноль ноль. Двадцать три ноль ноль. Полночь. Солнце всё ещё висело там, где должно было исчезнуть. Оранжевое. Ленивое. Безразличное.

Я позвонил жене.

Она сказала: «У нас то же самое». Она была в командировке. В другом городе. В другом часовом поясе. Где Солнце тоже не зашло.

Я включил новости.

Ведущий сидел в студии с мешками под глазами и повторял одно слово: «Аномалия». Потом показали карту. Солнце не заходило нигде. Но и не восходило. На востоке — тьма. На западе — тот самый оранжевый край, который касался горизонта и замер.

Мир разделился пополам.

Сторона, обращённая к Солнцу, осталась в вечном дне. Сторона, от которой оно отвернулось, погрузилась в ночь без рассвета.

Первые дни люди праздновали.

На дневной стороне — улицы заполнились пьяными, счастливыми, ловящими последние лучи, как будто это был бесконечный майский вечер. На ночной — люди зажигали фейерверки, звонили в колокола, пытались разбудить небо.

Потом перестали.

На третий день на дневной стороне начали сохнуть реки.

Не высыхать — сохнуть. Вода оставалась, но становилась тёплой, как в ванне, которую забыли слить. Рыба всплывала брюхом вверх, не понимая, что случилось. Трава не желтела — она становилась серой, как старая бумага, и крошилась под ногами.

На ночной стороне начали мёрзнуть озёра.

Не замерзать — мёрзнуть. Лёд полз по поверхности медленно, без треска, как плесень. Деревья не сбрасывали листву — она просто отваливалась, когда ветер касался веток. Люди носили фонари на головах, как шахтёры, и ходили молча, словно боялись разбудить тьму.

Я живу на границе.

Не метафорической. Настоящей. Мой город — ровно посередине. Слева от моего окна — день. Справа — ночь. Разделитель проходит через центр улицы, через крыши, через реку, которая течёт и одновременно застывает.

Я вижу оба мира.

По утрам я смотрю влево. Там люди ходят в солнцезащитных очках, хотя Солнце уже не ослепляет — оно просто висит, как лампа, которую забыли выключить. Их кожа краснеет. Не загорает — краснеет, как у ожога. Они носят зонты, но не от дождя. От света, который не даёт уйти.

По вечерам я смотрю вправо. Там люди ходят в пальто, хотя температура не падает ниже нуля. Они дрожат не от холода. От тишины. От неба, которое не знает, что такое звезды — потому что звёзды не приходят туда, где нет рассвета.

Я работаю на границе.

Меня наняли наблюдателем. Сажу в будке посередине моста, который соединяет день и ночь, и записываю. Что видит левая сторона. Что видит правая. Как меняется река. Как меняются люди.

Вчера я записал: «На дневной стороне родился ребёнок. Первый с момента аномалии. Глаза открывает сразу, не моргает. Врачи говорят — адаптация».

Позавчера: «На ночной стороне умер старик. Последние слова — «наконец-то рассвет». Он улыбнулся и закрыл глаза. Никто не сказал ему, что рассвета не будет».

Сегодня я записал кое-что другое.

Я сидел в будке и смотрел на Солнце. Оно не двигалось. Но я заметил — оно дышит. Не пульсирует, как обычно. А дышит. Медленно. Втягивает свет, потом выпускает. Как лёгкие. Как кто-то, кто ждёт.

Я вышел из будки.

Подшёл к самому краю границы. Там, где день касается ночи, воздух дрожит. Не от температуры — от чего-то другого. От напряжения. От двух миров, которые не могут решить, кто из них настоящий.

Я протянул руку.

Левая ладонь оказалась в свете. Тёплой. Сухой. С правой стороны на неё лёг холод, как влажная ткань.

Я стоял так минуту. Или час. Время перестало иметь значение, когда Солнце перестало уходить.

Потом я услышал шаги.

С ночной стороны шла женщина. В пальто, с фонарём. Она подошла к границе и остановилась. Посмотрела на меня. На мою руку, которая лежала на линии между днём и ночью.

«Вы тоже ждёте?» — спросила она.

«Чего?» — спросил я.

«Чтобы оно решило», — сказала она. И посмотрела на Солнце.

Я посмотрел туда же. Оно висело. Оранжевое. Ленивое. Дышащее.

«Что решило?» — спросил я.

«Какую сторону выбрать», — сказала она. И ушла в ночь.

Я остался.

Я стоял так до тех пор, пока левая ладонь не начала дымиться, а правая не покрылась коркой инея. Солнце медленно моргнуло. И я сделал шаг вперёд. Прямо на линию.

Следы

Вечером я приехал в субботу.

Дача была зимней. Не пустой — зимней. Снег лёг ровным слоем, как одеяло, которое кто-то аккуратно поправил. Ворота открылись с первого толчка. Я проехал по дорожке, оставив за собой два ряда следов — шины и мои ботинки, когда вышел закрывать ворота.

Я оставил машину у крыльца.

Взял сумку с продуктами. Вошёл в дом. Включил отопление. Стоял у окна кухни и пил чай, глядя на участок. Двадцать соток, которые летом пахли смородиной и травой. Теперь — просто белое поле. Ровное. Спящее.

Я заметил следы в четыре часа.

Не сразу. Сначала думал, что это тень от столба. Или ветки яблони, которая торчит над забором. Но тени не идут от забора к дому. Тени идут от предметов. А это — следы.

Они шли от леса.

Не от дороги. Не от соседей. От леса, который начинался за третьим рядом яблонь. Белые деревья, чёрные ветки, и между ними — тропа, которую летом не заметишь, потому что она заросла крапивой.

Следы были большими.

Не медвежьими — я видел медвежьи, они широкие, растопыренные, с когтями. Эти были длинными. Узкими. Как человеческие, но в полтора раза больше. И без отпечатков подошвы. Босые. С пятью округлыми пятнами — пальцами, или когтями, или чем-то, что я не мог назвать.

Они шли прямо к дому.

Не бродя, не ища. Прямо. От леса, через яблони, мимо сарая, к крыльцу. К тому самому месту, где я оставил машину. Где я стоял, пил чай, смотрел в окно.

Я вышел.

Снег хрустел под ногами, как сухой хлеб. Я подошёл к следам. Они заканчивались у крыльца. Не уходили обратно. Не разветвлялись. Просто обрывались, в метре от двери.

Я огляделся.

Ничего. Ни движения в лесу. Ни тени на снегу. Только ветер, который гонял снежную пыль по полю, как мелкую соринку.

Я вернулся в дом.

Запер дверь. Проверил окна. Сел у печки и смотрел на следы через стекло. Они были там. Чёрные на белом. Отчётливые. Не заметить их было невозможно.

Я позвонил соседу.

Михалыч, участок восемнадцать, через дорогу. Он приезжал вчера, проверял трубы. Я спросил, видел ли он что-нибудь.

«Следы?» — он засмеялся. — «Это Ванька из шестого участка. Рассказывал, что будет пугать зимников. Делает гипсовые формы, привязывает к ногам. Ходит, следы оставляет. Шутник, блин».

Я повесил трубку.

Посмотрел на следы. Они не походили на гипсовые. Гипс ломается. Гипс оставляет острые края. Эти следы были мягкими. Глубокими. Как будто то, что их оставило, было тяжёлым. Или уверенным.

Я пошёл к Ваньке.

Шестой участок — через поле, в сторону озера. Домик деревянный, дым из трубы. Он открыл дверь в тапочках, с чашкой чая.

«Следы?» — он улыбнулся. — «Да, я шутил. Но не вчера. Вчера я был в городе. сестра больна, в больнице лежала. Проведал».

Я посмотрел на его ноги. Тапочки. Маленькие. тридцать девятый размер. Следы были сорок пятые, если не больше.

«Можете проверить», — сказал он. — «Гипс в сарае лежит. Формы. Не брал их неделю».

Я не стал проверять.

Пошёл обратно. Снег начал падать. Мелкий, невесомый, который не заметишь, пока не оглянусь и не увидишь, что следы мои уже засыпаны. А чужие — нет. Они были там. Чёрные на белом. Не заметить их было невозможно.

Ночью я проснулся от тишины.

Печка догорала. В доме было тепло, но я замёрз. Не от холода. От чего-то другого. Я подошёл к окну.

Следы были свежие.

Не мои. Я не выходил. Новые. Они шли от дома к лесу. Обратно. Те же. Длинные. Узкие. Босые. Но теперь — вдвоём. Два ряда. Параллельных. Как будто кто-то пришёл, постоял у крыльца, и ушёл. Не один.

Я оделся.

Вышел. Фонарь в руке. Снег падал всё гуще, но следы были свежими — края не осыпались, внутри — тёмные, мокрые. Они уходили в лес. Я пошёл за ними.

Яблони. Сарай. Третий ряд. Лес. Ели, которые стоят плотно, как забор. Между ними — тропа, которую летом не заметишь. Сейчас она была белой, ровной, за исключением двух чёрных линий, которые уходили вглубь.

Я шёл минут двадцать.

Или час. Время в лесу другое. Тихое. Вязкое. Снег падал сквозь ветки, и свет фонаря делал его золотым, как пыль.

Тропа кончилась у поляны.

Не большой. Размером с мой участок. Ровной. Белой. Без деревьев. Без кустов. Только снег. И посередине — яма.

Не глубокая. Метр в диаметре. Снег в ней был тёмным. Не грязным — тёмным. Как будто кто-то копал, достал оттуда что-то, и закопал обратно.

Я подошёл к краю.

В яме лежала вещь.

Маленькая. Квадратная. Завёрнутая в ткань, которую я узнал. Мою. Из моего шкафа. Из дачи. Плед, который я оставил здесь осенью.

Я не копал эту яму.

Я не закапывал плед.

Я не знаю, что лежит внутри.

Но я знаю, что завтра я должен вернуться с лопатой.

Или уехать. Пока могу.

Ипотека

Всё началось с ипотеки.

Я подписывал договор в банке, пил кофе из автомата — дешёвый, кислый, но тогда он казался терпимым. Девушка за стойкой улыбалась так солнечно, что я не мог предположить подвоха. «Ничего страшного, — сказала она, даже наклонив голову к плечу. — Обычное стра-

хование. Все так оформляют». Я кивнул. Мне было тридцать два, я только что женился, мы с женой искали однушку на окраине. Я хотел побыстрее убрать это «только своё жильё» из головы. Поэтому не читал мелкий шрифт.

Пункт 14.3: «В случае невозможности погашения кредита банк имеет право изъять залоговое имущество, включая биоматериалы, перечисленные в приложении Б».

Я даже не открыл приложение Б. Кто вообще их открывает, честно?

Первое изъятие через два года. Я просрочил три платежа — сначала просто забыл, потом заболела мама, потом потерял подработку. Пришло уведомление на почту: «Вам назначена процедура забора. Явка обязательна». Я тогда ещё смеялся. Думал: квартиру? Машину? Ту самую машину, которой, по сути, и нет.

В кабинете было пугающе чисто. Белые стены, запах озона, кушетка, врач в весёленьких перчатках цвета лайма. «Расслабьтесь, — сказал он. — Локальная анестезия, полчаса, и свободны». Я спросил: что забираете? Он удивился так искренне, будто я спросил цвет неба. «Вы не читали? Почка. Левая. Согласно графику погашения. Приложение Б, таблица 3».

Я не кричал. Я просто замолчал. Долго. А потом подумал — ну, почка. Люди живут с одной. Может, это даже похудею. Я держался за этот жалкий самообман всю дорогу до операционной.

Через месяц я уже не мог работать физически. Грузчиком — нет, даже полы мыть стало трудно. Спина болела так, что я просыпался по ночам от собственного хрипа. Меня уволили. По собственному желанию, разумеется, чтобы не портить им отчётность. Платежи встали колом. Банк прислал новый график: теперь я должен больше. Проценты набежали, пока я лежал в больнице на больничном, который никто не оплачивал.

Через полгода — вторая операция. Доля печени. Врач сказал, что регенерирует, мол, отрастёт, не переживайте. У него даже голос был добрый. Я лежал на том же столе и почему-то вспомнил, как в детстве мама говорила: «Сынок, зубы новые вырастут, а старых уже не вернуть». Вот и печень — вернётся. А то, что два месяца я не мог есть ничего, кроме бульона, и смотрел на собственный живот с красной полосой шва, — это мелочи. Банк сказал, что проценты, увы, не регенерируют. Они растут быстрее, чем моя печень.

Я перестал выходить на улицу. Сначала стеснялся шрамов. Потом просто не хотел видеть людей. Друзья звонили — я сбрасывал. Что я им скажу? «У меня забрали почку за ипотеку»? Они сначала не поверят, потом посмеются, потом испугаются и перестанут звонить сами. Именно так и вышло.

Жена ушла после первой операции. Собрала чемодан вечером, пока я спал на диване с дренажом. Оставила записку на холодильнике: «Я не подписываюсь под этим». Под чем — под моей глупостью? Под банком? Под моей общей усталостью? Она не объяснила. Я не перезванивал. Не видел смысла.

Через год — третья. Роговица глаза. Правого. Мне сказали в отделении: «Лазерная коррекция наоборот, ничего страшного». Я тогда уже перестал верить фразе «ничего страшного». Она стала тускнеть в моём правом глазу, как пелена. Теперь я смотрю на мир левым — единственным живым, и тот вечно слезится от напряжения.

Банк прислал письмо: «В связи с частичной утратой трудоспособности ваша процентная ставка пересмотрена в сторону увеличения». Я позвонил в службу поддержки. Девушка представилась Анной, её голос был таким тёплым, как у той, первой, за стойкой. «Это стандартная практика, вы же понимаете, риск вырос. Банк несёт потери из-за вашего состояния». Я спросил: «А я не несущу?» Она вежливо попросила не переходить на личности.

Я понял.

Теперь я сплю на кушетке в съёмной комнате — бывшей кладовке с окном под потолком. На столе — стопка неоплаченных квитанций и письмо. Последнее. Я перечитываю его каждую ночь, вожу пальцем по строчкам, пока не сотру краску.

«Следующий платёж — 30 апреля. В случае его отсутствия будет произведено изъятие: сердце».

Сегодня — 28 апреля.

Я смотрел в зеркало, но правым глазом уже не вижу своего отражения. Левым вижу: седой мужчина, тридцать семь лет, шрам на боку (почка), шрам на животе (печень), стеклянный глаз, который не моргает и вечно смотрит куда-то в сторону. И ещё этот тик. Когда я волнуюсь, у меня дёргается уголок рта. Сейчас дёргается так, что я еле выговариваю слова вслух. Но рядом никого, чтобы слышать.

Я ещё жив. Но на сколько? Сердце — это не почка, не доля печени, не роговица. Это конец. Я искал в интернете: «можно ли жить без сердца». Нашёл только статьи про искусственные насосы, про трансплантации. А про изъятие по договору — ни одного результата. Потому что никто не дожил до статьи.

Можно сбежать. Но в договоре пункт 19.2: «В случае уклонения клиента от процедуры банк имеет право инициировать принудительное изъятие с привлечением третьих лиц».

Третьи лица — это люди с пейджерами. Я видел их в подъезде в прошлую среду. Двое, в кожаных куртках, не скрываются. Один жевал бутерброд. На меня даже не посмотрел. Им не надо смотреть. Им просто дождаться.

Я сижу на кушетке. В руке — письмо. За окном — обычный предпраздничный день. Люди идут в кафе, смеются, покупают кофе за двести рублей теми самыми руками, которые потом подпишут такой же договор, даже не прочитав приложение Б. Они не знают, что у них внутри — всего лишь отсрочка. До первого просроченного платежа. До первой болезни. До первого пункта 14.3.

Не знаю, что будет после 30 апреля. Не знаю, выживают ли после изъятия сердца. Не знаю, есть ли там, в приложении Б, пункт про душу. Наверное, нет. Душа — неликвид.

Я посмотрел на часы. До тридцатого апреля оставалось сорок восемь часов. Я положил письмо на стол, рядом с пустым стаканом. В тишине комнаты было слышно только одно: глухой, ритмичный стук в груди. Чужой стук. Я прикрыл глаза и стал считать удары, пытаюсь понять, сколько их ещё осталось.

Часы судного дня

Часы не стреляли. Они просто щёлкнули.

Как старый будильник, у которого закончилась заводная пружина. Я смотрел трансляцию. Двенадцать человек в строгих костюмах стояли у стеклянного колпака. Минутная стрелка, та самая, что двигалась назад и вперёд почти восемьдесят лет, дрогнула. И коснулась двенадцати.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.